

ЕВА НОРСКАЯ

ЦЕПЕЛ
НА
ЯЗЫКЕ

Ева Норская

Пепел на языке

«Автор»

2026

Норская Е.

Пепел на языке / Е. Норская — «Автор», 2026

После пожара в собственной кондитерской Ника Соболева теряет вкус — худшее, что может случиться с шеф-кондитером. Но огонь оставляет ей не только пепел на языке. Теперь при прикосновении к человеку Ника чувствует его сильнейшую эмоцию и видит короткий фрагмент памяти. Так она узнаёт, что пожар был поджогом, а её младшая сестра невольно помогла преступнику войти в здание. Каждое использование дара приближает Нику к правде — и отнимает у неё одно из чувств. Вкус. Запах. Тепло. Боль. Прикосновение. Только рядом с инженером Глебом Ярцевым способность молчит. Его рука дарит Нике долгожданную тишину, но сам Глеб связан и с владельцем сгоревшего здания, и с тайнами, которые могут разрушить расследование. Чтобы найти человека, принёсшего огонь, Нике придётся решить, сколько ещё она готова отдать за правду — и можно ли доверять единственному мужчине, которого невозможно прочитать прикосновением.

© Норская Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	8
Глава 3	11
Глава 4	15
Глава 5	19
Глава 6	23
Глава 7	28
Глава 8	32
Глава 9	36
Глава 10	40
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Ева Норская

Пепел на языке

Глава 1

К трём ночи я перестаю верить в четвертую партию карамели. Она хорошая. Если бы я поставила её завтра в витрину, никто не вернул бы пирожное и не написал в отзыве, что раньше у нас было лучше. Сливки смягчают горечь, груша не теряется, соль появляется в конце ровно настолько, чтобы хотелось откусить ещё. Всё на месте. Проблема только в том, что я знаю: можно точнее. Я выливаю остатки в пластиковый контейнер, подписываю «персоналу» и ставлю к остальным трём. Утром Лиза скажет, что не понимает, чем они отличаются, а я в очередной раз предложу ей сменить фамилию, чтобы люди не догадались, что мы родственницы. Она съест две ложки прямо из банки и не сменит.

В цехе жарко, хотя духовки выключены уже почти час. Вентиляция тянет воздух ровным низким гулом, холодильники отвечают ей своим, а за стеной в пустом зале иногда щёлкает остывающая кофемашина. На металлическом столе передо мной лежат весы, термометр, открытая пачка соли и блокнот, в котором последняя страница выглядит как спор человека с самим собой: 2,6; 2,8; 3,0; снова 2,8; жирный вопросительный знак. Я ставлю чистый сотейник на плиту и отмеряю сахар. Триста граммов. Вода. Глюкозный сироп. Всё это я могу делать в темноте и, возможно, когда-нибудь проверю, но сегодня руки уже слегка дрожат от кофе и недосыпа, поэтому играю в ответственного взрослого и смотрю на весы.

Сахар сначала мутнеет, потом становится прозрачным. По краям появляется золотистый ободок. Я не трогаю его лопаткой, только покачиваю сотейник, чтобы жар распределялся ровнее. Здесь есть несколько секунд, когда ничего не происходит, а потом происходит всё сразу: цвет уходит из золотого в янтарный, запах становится густым, тёплым, почти ореховым. Ещё чуть-чуть — и будет гореть. Снимаю с огня и вливаю сливки. Карамель бросается вверх пеной, шипит, пар обжигает щёку. Я отворачиваюсь, но руку не убираю: если сейчас выпустить сотейник, пятая партия отправится туда же, куда четвертая, только вместе с моей кожей. Когда смесь успокаивается, возвращаю её на слабый огонь, ввожу масло и соль. Три целых и две десятых грамма. Смотрю на цифры, потом сдвигаю банку подальше, чтобы не начать импровизировать. Телефон рядом с весами загорается.

«Ты вообще домой собираешься?» Лиза. Я читаю и не отвечаю. Через минуту приходит второе сообщение: «Напоминаю: сезонное меню запускаем в ОДИННАДЦАТЬ. Не в четыре утра». Следом фотография серого кота, занявшего мою подушку, и подпись: «Место потеряно. Соболезную». Я вытираю пальцы о полотенце и печатаю: «Это кот соседки». Ответ появляется сразу: «Он сделал выбор». «Он ест у трёх квартир». «Не завидуй его социальным навыкам». Я улыбаюсь и переворачиваю телефон экраном вниз.

Лиза младше меня на четыре года и работает в «Соли» почти с открытия. В трудовом договоре у неё написано «администратор», но в реальности она делает всё, что я считаю несерьёзным, а потом выясняется, что именно это и держит зал живым. Она помнит, кому нужен кофе без лактозы, знает имена половины собак на районе и однажды написала на доске у входа «Кофе без бывших — 250 рублей». Я заставила стереть. На следующий день вернула, потому что продажи американо выросли. Карамель остывает на ложке. Я жду, хотя ждать после трёх ночи особенно трудно. Горячая сладость всегда врёт: забивает кислоту, прячет соль, делает любое решение приятнее, чем оно есть. Мне нужен вкус таким, каким его получит человек через два часа после сборки, когда пирожное постоит в витрине. Пробую.

Сначала сливки. Потом тёмный сахар с короткой горечью по краю языка. За ним груши нет, конечно, груша будет потом, но я уже знаю, где она ляжет. Соль приходит последней и не торчит отдельно. Она не делает карамель солёной, только собирает всё вместе. Я держу ложку во рту чуть дольше, чем нужно, и наконец закрываю блокнот. Вот теперь хватит. Вкус — странная вещь: большинство людей замечает его только тогда, когда он плохой. Слишком сладко, пересолено, горчит, кислое. Хороший вкус они называют просто «вкусно», и я раньше злилась на это слово. Три дня выстраиваешь баланс между сливками, кислотой груши и розмарином, а в ответ получаешь «прикольно». Потом перестала. Человек не обязан знать, почему ему хорошо. Это моя работа — знать.

На двери холодильника висит список. Груши — готовы. Мусс — готов. Песочная основа — готова. Облепиховый гель — готов. Карамель я дописываю последней и ставлю рядом галочку. Можно домой. Я выключаю плиту, снимаю фартук и только тогда замечая ложку в раковине. Одну. Она лежит там с таким видом, будто рассчитывает пережить ночь без последствий.

— Даже не надейся, — говорю я.

Мысль оставить её до утра держится секунд пять. Потом я мою ложку, вытираю стол и ещё раз проверяю контейнеры. В смене завтра семь человек, и если каждый оставит себе по одной маленькой побрякушке, к обеду у меня закончится посуда, место в холодильнике и терпение. Это не перфекционизм. Это арифметика. В раздевалке лампа включается не сразу. В зеркале на секунду остаётся только тёмный силуэт, потом вспыхивает белый свет. Волосы я собрала карандашом и забыла об этом ещё часов пять назад; у локтя засохла полоска шоколада, под глазами тени. На женщину, которая завтра должна уверенно выйти в зал и сказать команде, что всё под контролем, я сейчас похожа слабо. Телефон показывает 3:46. Пишу Лизе: «Всё. Еду». «НЕ ВЕРЮ». «Меню готово». На этот раз три точки мигают дольше. «Я тебя тоже люблю».

Я убираю телефон в карман. Мы редко говорим это нормально. Видимо, боимся, что если начать, придётся ещё обсуждать чувства, а у обеих утром работа. В зале прохладнее, чем в цехе. Стулья стоят ножками вверх на столах, витрина пустая, чашки убраны. Без людей «Соль» выглядит меньше и аккуратнее, чем днём. Днём она постоянно выходит из-под контроля: дети оставляют ладони на стекле, кто-нибудь переставляет стул, на стойке появляется чек, который никто не выбросил, Лиза суёт мне в руку кофе и требует сесть хотя бы на четыре минуты. Я задерживаюсь у витрины и машинально провожу пальцем по стеклу. Чисто.

Над кассой висит название. Четыре буквы — «Соль». Я написала их три года назад на салфетке в чужом кафе, пока ждала человека из банка. Он должен был объяснить, почему мне снова не дадут кредит, и объяснил очень убедительно. Салфетку я всё равно забрала. Первый год «Соль» существовала без вывески и без зала. Я работала ночами в арендованном цехе, потому что днём там была другая кондитерская. Второй мы с Лизой возили заказы на старом «Форде», у которого багажник открывался только после удара под номером. Потом появился этот дом, убитое помещение на первом этаже и хозяин, согласившийся дать два месяца на ремонт без аренды. Я тогда решила, что это удача. Через две недели мы сняли со стены плитку и нашли под ней плесень. С тех пор я осторожнее с удачей.

Выключаю подсветку вывески, запираю входную дверь и дёргаю ручку дважды. Потом обхожу дом и проверяю заднюю. Замок на месте. Дверь закрыта. На улице сыро. Асфальт после ночного дождя блестит под фонарями, у мусорных контейнеров пахнет мокрым картоном и кофейной гущей. После жаркого цеха холод сразу забирается под тонкую толстовку. Я сажусь в машину, включаю печку и замечая на рукаве маленькую каплю застывшей карамели. Отковыриваю её ногтем и кладу на язык. Не сегодняшняя. Слишком сладкая, соли мало. Я выплёвываю сахар в салфетку и завожу двигатель. Дома тихо. У Лизы дверь закрыта, на кухне стоит кружка с засохшим чайным пакетиком, а к холодильнику магнитом прижата записка: «СЫР

НЕ ЕШЬ. Я СЧИТАЛА КУСКИ». Я открываю холодильник, смотрю на сыр и закрываю. Мне двадцать семь. Иногда полезно себе это напоминать.

Под душем вода слишком горячая, но плечи перестают ныть только через несколько минут, поэтому я не убавляю. Кожа краснеет, ладони пахнут мылом, но если поднести пальцы к лицу, всё равно остаётся слабый запах карамели. Он въедается в волосы, одежду, сумку; после смены я иногда чувствую его уже в постели. Серый кот действительно лежит на моей подушке.

— Подвинься.

Он открывает один глаз.

— Я плачу за эту квартиру больше тебя.

Кот не считает это аргументом. Приходится лечь с краю и отвоевать половину одеяла. Простыня прохладная, ступни постепенно согреваются, за стеной шумит вода у соседей. Во рту ещё держится вкус последней карамели. Сладость уже почти ушла, а соль остаётся на языке тонкой чистой полосой. Я думаю, что утром надо всё-таки попробовать собранное пирожное целиком, потому что груша могла за ночь дать больше влаги. На этом засыпаю. Телефон звонит в шесть ноль четыре. Я сначала не понимаю, что за звук, потом шарю рукой по тумбочке и сбиваю стакан. Он падает на пол, кот мгновенно исчезает из комнаты. На экране незнакомый номер.

— Да?

— Ника Соболева?

Мужской голос, вокруг него много шума. Я сажусь.

— Да.

— Вы владелица кондитерской «Соль» на Новослободской?

Сон отступает не сразу. Несколько секунд я просто не могу придумать, зачем кому-то выяснять это в шесть утра.

— Да. А что случилось?

— У вас пожар. Пожарные уже на месте. Вам лучше не подъезжать близко к зданию, там перекрыта улица.

Я встаю и наступаю на край одеяла.

— Какой пожар?

Мужчина повторяет что-то про адрес и службы. Я уже открываю дверь своей комнаты и иду по коридору.

— Там люди есть?

— Сейчас идёт эвакуация.

— Кто внутри?

— Девушка, я не могу...

Я включаю свет у Лизы. Кровать пустая. На спинке стула нет её чёрной рабочей куртки, которую она бросает туда каждый вечер. Телефон у моего уха становится скользким. Сегодня Лиза открывает зал. Официально с восьми. Но на новое меню я просила всех, кто может, приехать раньше. Я сбрасываю звонок и набираю её номер. Гудки идут долго, потом включается автоответчик. Я звоню ещё раз, одновременно натягивая джинсы.

— Возьми, Лиз.

Пятый гудок. Автоответчик. Ключи падают со столика, я подбираю их, промахиваясь рукой мимо рукава куртки и ругаюсь вслух. Ещё один вызов остаётся без ответа. Во рту всё ещё есть слабая солёность ночной карамели. Я не придаю этому никакого значения. Через десять минут я уже еду к «Соли».

Глава 2

Дым виден за два квартала, и до самого поворота я нахожу ему другие объяснения. Склад. Мусор. Проводка в соседнем доме. Всё что угодно, лишь бы не тот первый этаж, где ещё два часа назад я вытирала стол и ругалась на одну ложку в раковине. Потом между домами появляется крыша «Соли», и врать себе больше не получается. Пожарные машины стоят вдоль улицы и во дворе. Одна перегородила проезд, от неё тянутся рукава, под ногами течёт грязная вода. Синие маяки вспыхивают на мокром асфальте, люди толпятся за лентой. Самого огня с этой стороны почти не видно, зато из разбитых окон валит густой серый дым, а над входом почернела штукатурка.

Я бросаю машину у тротуара и бегу к зданию. Пожарный встаёт передо мной, не давая пройти за ленту, и поднимает ладонь, как будто этого жеста достаточно, чтобы остановить человека, который уже видит собственную жизнь в дыму.

— Там моя сестра. Лиза Соболева, двадцать три года. Она здесь работает.

— Людей ищут. Отойдите, пожалуйста, за ограждение.

— Она вышла?

— Я не знаю.

— Тогда кто знает?

Он отвечает спокойно, но слова только мешают. Спрашивает, когда Лиза могла приехать, во что одета, есть ли у неё машина. Я называю чёрную куртку, светлые волосы, белые кеды и вдруг спотыкаюсь на простом вопросе, во сколько именно она пришла. Не знаю. Я всю ночь была здесь и уехала в четыре, а потом Лиза могла приехать в пять тридцать, в шесть, в семь. У меня есть таблица с точным весом соли на каждую партию карамели, но я не знаю, где сейчас моя сестра.

— Она не отвечает на телефон, — говорю я.

— Это ничего не значит. Телефон мог остаться внутри.

— Для вас, может, и ничего.

Он смотрит на меня секунду, потом зовёт кого-то из коллег. Я не жду. Отхожу вдоль ленты туда, где стоят три скорые, и спрашиваю у каждого, кого успели вывести. Никто не знает имён. Светловолосую девушку увезли несколько минут назад, говорит один фельдшер, но возраст он не помнит. Другой видел сотрудницу кофейни из соседнего помещения. Третий советует звонить в приёмное отделение. Я звоню. Линия занята. Потом снова набираю Лизу. Без ответа. От здания тянет горелым пластиком, мокрым деревом и сладким. Этот запах я узнаю сразу и ненавижу за то, что узнаю: сахар. В цехе стоят два двадцатипятикилограммовых мешка, ещё сиропы, шоколад, орехи, картонные коробки. Вчера всё это было запасом на неделю. Теперь сладость смешивается с гарью так, что меня начинает тошнить.

Из входа выходят двое пожарных. Я снова рвусь к ним и цепляюсь за того, кто на ходу снимает маску.

— Там кто-нибудь остался?

— Проверяем помещения.

— Кондитерский цех проверили? Там задняя комната, её из зала не видно. За холодильником коридор, потом склад и раздевалка. Лиза могла быть там.

Он останавливается.

— Схема есть?

— У меня в голове есть.

Я быстро объясняю планировку: главный зал, дверь за стойкой, узкий проход, цех, мойка, склад. Пожарный повторяет часть моих слов в рацию и велит оставаться здесь. На секунду кажется, что этого достаточно, что я наконец сделала полезное и теперь должна просто не

мешать людям, которые знают, что делают. Я остаюсь ровно до тех пор, пока он не уходит. Потом звоню Лизе ещё раз и начинаю обходить здание. Во дворе людей меньше. Здесь тоже натянута лента, но у ворот суeta: кто-то перекачивает оборудование, пожарные тянут рукав, двое полицейских спорят с мужчиной в халате из соседней пекарни. Я знаю этот двор лучше большинства из них. Через него три года таскала муку, коробки и баллоны для сифона, зимой выламывала лёд у мусорных баков, весной ругалась с грузчиками, которые перекрывали задний вход. Задняя стена «Соли» почти не видна из-за дыма.

Я не собираюсь заходить внутрь. Эта мысль появляется уже потом, когда мне кто-то её приписывает. В тот момент я собираюсь только подойти ближе и показать, где служебная дверь, найти человека, который меня выслушает, убедиться, что проверяют именно те помещения, о которых я говорила. Потом из-за стены доносится металлический удар, кто-то кричит, все вокруг одновременно смотрят в другую сторону, и между мной и дверью на несколько секунд никого не остаётся. Служебная дверь приоткрыта. Я знаю, что должна вернуться. Вместо этого достаю телефон и снова набираю Лизу. Сначала слышу только шум вокруг. Потом из глубины коридора доносится очень тихая знакомая мелодия. Я не могу понять, действительно ли это её звонок или мозг подсовывает мне то, чего я боюсь услышать. Звоню ещё раз, и мелодия повторяется. Дальше я уже не думаю.

За дверью воздух другой. Горячий, густой, с первой же попытки вдохнуть царапает горло. Я натягиваю ворот толстовки на нос и иду, пригибаясь, хотя понятия не имею, помогает ли это. Через несколько шагов двор исчезает за дымом, и вместе с ним исчезает всё нормальное: свет, расстояние, понимание, где верх. Я знаю этот коридор наизусть. Справа должна быть дверь склада, слева стена, дальше поворот к цеху. Ладонью провожу по штукатурке и двигаюсь вдоль неё. Стена тёплая, местами мокрая от воды. Под ногами что-то хрустит. Там, где обычно стоит ящик с фартуками, его нет или я прохожу мимо и не замечаю.

— Лиза!

Голос получается чужим, хриплым. Дым тут же забирается глубже, я кашляю и упираюсь плечом в стену. Телефон в руке светится бесполезным прямоугольником: связи нет. Я включаю фонарик, но луч упирается в серую взвесь в полуметре от лица. Ещё несколько шагов — и я понимаю, что дошла до цеха. Не по виду, а по полу: здесь плитка гладкая, а в коридоре старый линолеум с швом у двери. Носок кроссовка скользит по воде. Слева должна быть мойка, за ней холодильники. Я протягиваю руку и натыкаюсь на край металлического стола. Он горячий. Отдёргиваю пальцы, поздно — кожу уже жжёт.

— Лиза!

Где-то впереди трещит дерево. Сверху падает что-то лёгкое, задевает волосы. Я пригибаюсь сильнее. Мне страшно, но страх здесь понятный, мой. Он сидит в горле вместе с дымом и заставляет идти быстрее, хотя ноги уже плохо слушаются. Я представляю Лизу в раздевалке, в подсобке, под столом — любую, только живую. Вспоминаю, что пожарные говорили про эвакуированную светловолосую девушку. Возможно, это она. Скорее всего, это она. Нормальный человек развернулся бы сейчас и вышел, но я продолжаю двигаться вдоль стола. В какой-то момент цех вспыхивает передо мной кусками. Не весь — только отдельные вещи, которые огонь успевает показать сквозь дым: край стеллажа, белая дверца холодильника, перевернутый контейнер на полу. На дальней стене что-то горит открытым пламенем.

Жар становится сильнее. Кожа на лице стягивается, глаза слезятся так, что я почти ничего не вижу. Толстовка у горла мокрая от дыхания, но ткань уже не спасает. Я задеваю бедром стол и едва удерживаюсь на ногах.

— Лиз...

Кашель складывает меня пополам. Воздуха нет. Я пробую вдохнуть через ткань и получаю ещё дым. Перед глазами начинает темнеть не как ночью, а пятнами, сужая помещение с краёв. Нужно обратно. Эта мысль наконец доходит целиком. Я поворачиваюсь и не узнаю

направление. Стена, вдоль которой я шла, исчезла. Или я отошла от неё. Или поворот был раньше. Телефон выскальзывает из пальцев, ударяется о плитку, и я не нахожу его сразу. Опускаюсь на колено, шарю рукой в воде и мусоре. Чьи-то шаги возникают совсем рядом. Я успеваю решить, что это пожарный, и испытываю такое облегчение, что ноги перестают держать. Потом меня хватают за плечо.

— Назад! — кричит кто-то.

Голос мужской, но разобрать больше ничего нельзя. На лице у него что-то тёмное — копоть, ткань, мне всё равно. Он тянет меня к себе, я пытаюсь показать в сторону глубины цеха.

— Сестра там.

— Там работают. Идём.

— Она не вышла.

Я выворачиваюсь. Он снова хватает меня, теперь за рукав, но ткань скользит. Рука съезжает ниже и замыкается на голом запястье между манжетой и ладонью. Кожа к коже. Сначала я не понимаю, что произошло. Страх накрывает меня целиком, но он не похож на тот, с которым я только что шла через цех. Мой был простым: Лиза внутри, я не успею, я задохнусь. Этот — резкий, почти животный, такой сильный, что тело на секунду перестаёт мне принадлежать. И вместе с ним приходит короткая вспышка: серый дым, белый рукав, исчезающий за дверью, женская спина в проёме — моя? — и пустота сразу после. Картинка пропадает раньше, чем я успеваю понять, откуда она взялась. Меня выворачивает от ужаса. Я пытаюсь отдёргнуть руку, но мужчина держит крепко.

— Отпусти.

Не знаю, говорю ли вслух. Он тянет меня за собой, и теперь я почти не сопротивляюсь, потому что ноги подкашиваются и потому что этот страх сильнее дыма. От него хочется бежать быстрее, чем я могу. Мы двигаемся по коридору. Один раз я ударяюсь плечом о дверной косяк, второй — спотыкаюсь. Он подхватывает меня под локоть уже через ткань, и ничего нового не происходит. Впереди появляется свет. Не яркий, просто менее серый. Я делаю несколько шагов сама, потом воздух становится холоднее, кто-то кричит совсем близко. Руки перехватывают меня с другой стороны. Кажется, пожарные. Кажется, двор. Я оборачиваюсь к человеку, который вытащил меня, но вижу только тёмный силуэт среди дыма и людей.

— Лиза, — говорю я ему или всем сразу. — Там Лиза.

Кто-то отвечает, что девушку уже нашли. Я пытаюсь спросить где, в сознании ли она, кто её вынес, но слова не складываются. Страх возвращается второй волной — тот же, невозможный по силе, хотя голая рука уже никого не касается. Перед глазами снова мелькает белый рукав в дыму. Мой рукав. Я понимаю это и не понимаю ничего. Асфальт приближается слишком быстро. Последнее, что успеваю заметить, — ладонь на собственном запястье уже исчезла, а ощущение от неё почему-то осталось.

Глава 3

Первое, что я узнаю, — запах. Антисептик, стиральный порошок от больничного белья и что-то пластиковое от трубки под носом. Потом возвращается тело: сухое горло, тяжёлая голова, саднящая кожа на ладони. Простыня под пальцами жёсткая, подушка слишком высокая, в сгибе локтя тянет от катетера. Я открываю глаза и несколько секунд смотрю на белый потолок. Пожар приходит в память не сразу. Сначала просто неприятное ощущение, что я где-то должна быть и сильно опаздываю. Потом дым, цех, чужая рука на запястье. Лиза. Я сажусь. Голова тут же уходит куда-то в сторону, перед глазами темнеет. Аппарат рядом начинает пищать, и в палату заглядывает медсестра.

— Лежите.

— Где Лиза?

— Какая Лиза?

— Соболева. Елизавета Соболева. Она была на пожаре со мной.

Я уже стаскиваю с лица трубку, когда медсестра подходит ближе.

— Не снимайте кислород. Я сейчас уточню.

— Мне не надо уточнить. Мне надо знать, где она.

— Хорошо. Лежите две минуты, я позову врача.

Она пытается вернуть трубку на место. Я отодвигаю её руку.

— Она жива?

Медсестра останавливается. Видимо, в моём лице есть что-то, что наконец отменяет больничное «сейчас уточним».

— Девушку с того же пожара привезли раньше вас. Жива. У неё ингаляционная травма, она в другом отделении.

Я слышу только первое слово. Колени перестают держать даже в кровати, и я ложусь обратно не потому, что меня попросили. Медсестра поправляет подушку, возвращает кислород и говорит ещё что-то: состояние стабильное, врачи наблюдают, пока к ней нельзя. Я киваю на всё подряд.

— Она была в сознании?

— Не знаю. Это не моя пациентка.

— Я могу ей позвонить?

— Позже.

Телефон. Мой тоже остался где-то в «Соли». Я вспоминаю, как он выпал на плитку, и почему-то это становится первым предметом, о котором жалко по-настоящему. Не печи, не витрина, не холодильники. Телефон, потому что там переписка с Лизой двухчасовой давности, где она сообщает, что соседский кот выбрал её. Я закрываю глаза.

— Сколько я здесь?

— Несколько часов. Сейчас около одиннадцати.

В одиннадцать мы должны были открыть сезонное меню. Это знание приходит настолько буднично, что я почти смеюсь. В одиннадцать витрина должна быть полной. Лиза должна спорить с поставщиком стаканов. Я должна стоять у двери цеха и делать вид, что не слежу, как режут первое пирожное с карамелью. Вместо этого на руке пластиковый браслет с моей фамилией. Врач приходит минут через десять. Молодой, уставший, с маской под подбородком. Он слушает лёгкие, светит в глаза, просит глубоко вдохнуть. Глубоко не получается: горло сразу режет, начинается кашель.

— Вам повезло, — говорит он, когда я снова могу дышать. — Серьёзных ожогов нет. Небольшое отравление продуктами горения, обезвоживание. Ожог кисти поверхностный.

Я смотрю на правую ладонь. У основания пальцев кожа красная, блестит от мази.

— Я не помню, когда обожглась.

— В такой ситуации это нормально.

Я помню металлический стол. Значит, тогда.

— А человек, который меня вытащил?

Врач пожимает плечами.

— Вас передали бригаде у здания. Кто именно вынес, в карте не написано.

— Он был пожарным?

— Не знаю.

На запястье, там, где меня держали, остались красные следы. Не синяки, просто отпечатки, которые уже почти сошли. Я провожу по ним пальцем. В памяти снова возникает тот страх. Он не вяжется ни с чем. В цехе я была напугана до тошноты, это понятно. Но на секунду после прикосновения стало хуже в десять раз, и я ещё увидела себя со стороны — белый рукав, дым, дверь. Наверное, кислородное голодание. Это объяснение подходит достаточно хорошо, чтобы оставить его в покое.

— Лизу можно увидеть?

— Не сейчас. Если это ваша сестра, я узнаю, когда разрешат.

— Мне нужно к ней.

— Вам нужно полежать.

— У меня с лёгкими всё нормально.

— Именно поэтому не надо делать так, чтобы стало ненормально.

Я смотрю на него. Он, к его чести, не пытается улыбнуться.

— Я схожу уточню по сестре, — обещает он. — А вы не вставайте одна.

Когда дверь закрывается, оказывается, что в палате я не одна. За занавеской у соседней кровати кто-то переворачивает страницу книги. Я раньше даже не замечала. Через полчаса приносят чай. Женщина, раздающая подносы, ставит передо мной кружку, две упаковки сахара и сухое печенье. От чая поднимается пар. Пахнет крепкой дешёвой заваркой — почти пылью и чуть-чуть картоном. Я беру кружку обеими руками. Она горячая, приятно греет пальцы, и это почему-то успокаивает лучше всего, что мне успели сказать. Делаю глоток. Горячая вода.

Я морщусь и смотрю в кружку. Чай очень тёмный, почти коричневый. Пахнет чаем. Значит, его просто заварили так, что он пахнет и не имеет вкуса. Для больницы вполне реалистично. Разрываю пакет сахара и высыпаю половину. Размешиваю. Пробую снова. Ничего. Тепло на языке есть. Вода есть. Небольшая терпкость — нет, даже её нет. Сладости тоже. Я высыпаю остаток сахара.

— Ну конечно, — говорю тихо.

Соседка за занавеской перестаёт шелестеть страницей. Я размешиваю тщательнее, хотя прекрасно знаю, что сахар растворился с первого раза. Делаю ещё глоток. Ничего. Берусь за второй пакет и останавливаюсь. Это уже не чай. Я высыпаю несколько кристаллов сахара прямо на язык. Они есть. Я ощущаю их шероховатость, слышу тихий хруст на зубах. Через секунду кристаллы растворяются слюной. Сладости нет. Я сижу неподвижно, пока сахар окончательно не исчезает. Потом беру печенье. Оно сухое, крошится на языке, липнет к нёбу. По запаху обычное сливочное. Я знаю, каким оно должно быть: сахар, дешёвый ванилин, жирный привкус маргарина. Во рту только сухая масса.

Кружка ударяется о блюдо громче, чем я рассчитывала.

— Девушка? — отзывается женщина за занавеской.

— Всё нормально.

Это автоматический ответ. Он вылетает раньше, чем я успеваю решить, правда ли это. На подносе рядом с тарелкой лежит маленький пакетик соли. Видимо, к чему-то, что должны принести позже. Я беру его, разрываю и высыпаю щепоть на ладонь. Белые кристаллы. Ночью я различала три десятых грамма в карамели. Подношу палец ко рту. Соль царапает язык. Не

солёная. Я добавляю ещё. Ничего. На этот раз я не глотаю. Сплёвываю в салфетку, беру сахар и повторяю, как будто между первой и второй попыткой во мне могло что-то починиться. Сахар — ничего. Соль — ничего. Чай — горячий, влажный, безвкусный. Печенье — сухое, крошащееся, безвкусное.

Я открываю тумбочку, хотя не знаю, что ищу. Там салфетки, пластиковая ложка, маленький стаканчик, чужая пачка леденцов. Наверное, осталась от предыдущего пациента. Достāju леденец. Красный. Пахнет клубникой так сильно, что на секунду становится легче. Если запах есть, значит, всё работает. Я разворачиваю его и кладу в рот. Гладкая твёрдая поверхность, края начинают растворяться. Вкуса нет. Я вынимаю леденец ладонью и смотрю на него, как на вещь, которая только что нарушила договор.

— Медсестра!

Голос получается слишком громким. За занавеской снова шевелятся. Медсестра приходит быстро.

— Что случилось?

— Я не чувствую вкус.

Она смотрит на кружку, на сахар, на красный леденец в моей руке.

— После дыма бывает, слизистая раздражена.

— Я чувствую запах.

— Это хорошо.

— Нет. Послушайте. Я вообще не чувствую вкус. Никакой.

— Скажите врачу на обходе.

— Он уже был.

— Значит, вызову ещё раз.

Она говорит это тем тоном, которым обычно разговаривают с человеком, решившим, что у него редкая болезнь после трёх минут в интернете.

— У вас есть что-нибудь кислое? — спрашиваю я.

— Зачем?

— Проверить.

— Не надо сейчас ничего проверять.

— Лимон. Сок. Что угодно.

— У вас горло после дыма. Вам кислое не нужно.

Я хочу объяснить, что дело не в любопытстве. Что вкус — не один из приятных бонусов организма, который можно потерять на пару дней и подождать. Что я работаю языком так же, как музыкант слухом. Что через несколько часов мне должны были принести карамель, и я с закрытыми глазами сказала бы, из какой она партии. Но объяснение застревает. Оно звучит жалко даже у меня в голове.

— Соль, — говорю я. — Я не чувствую соль.

Медсестра чуть смягчается.

— После стресса организм может очень странно реагировать. Давайте врач посмотрит. Не накручивайте себя раньше времени.

«Не накручивайте» — прекрасный совет человеку, который только что ел чистую соль и не понял, что это соль. Она уходит. Я снова беру кружку. Чай уже не такой горячий, но тепло всё ещё чувствуется. Подношу к носу — запах есть. Делаю маленький глоток. Пусто. В этот момент дверь открывается, и я вскидываю голову, уверенная, что вернулся врач. Вместо него входит другой сотрудник и спрашивает фамилию.

— Соболева.

— По вашей сестре передали. Она стабильна. Пока на кислороде, разговаривать тяжело, но непосредственной угрозы жизни нет. Позже, возможно, разрешат увидеть.

Я закрываю глаза и киваю. Нужно радоваться. Я радуюсь. Где-то это происходит совершенно точно, потому что пальцы перестают так сильно сжимать край одеяла. Лиза жива. Лёгкие пострадали, но она жива. И одновременно я держу на языке крупинку соли и не чувствую её. Две вещи не отменяют друг друга. После обеда меня всё-таки везут к Лизе на несколько минут. Не разрешают вставать самой, поэтому я сижу в кресле и злюсь на колёса, на коридор, на медбрата, который слишком медленно нажимает кнопку лифта. Лиза лежит под тонким одеялом. Кожа бледная, под носом трубка, волосы убраны со лба. Когда я подхожу, она открывает глаза.

— Привет, — говорю я.

Она шевелит губами.

— Ты... страшная.

Голос едва слышен. У меня вырывается смешок, который сразу переходит в кашель.

— Сама красавица.

Лиза пытается улыбнуться. Потом замечает мою руку.

— Обожглась?

— Ерунда.

Она закрывает глаза. Я хочу спросить, зачем она приехала так рано. Хочу спросить, что случилось, что она видела, где начался огонь. Все эти вопросы стоят готовые, один за другим. Ни одного не задаю.

— Спи, — говорю я. — Я здесь.

Это тоже не совсем правда: через минуту меня увезут обратно. Но Лиза уже засыпает и не спорит. В своей палате я долго смотрю в потолок. Соседка за занавеской читает, в коридоре звякает тележка, кто-то ругается из-за капельницы. Обычная больница, обычный день, обычный мир, в котором у людей по-прежнему есть вкус. Перед сном приносят ужин. Картофельное пюре, котлета, чай. Я не собираюсь есть, но потом беру крошечный кусок картофеля. Тёплый. Мягкий. Чуть зернистый. Никакой картошки. От котлеты остаётся только плотность и жирная плёнка на нёбе. Чай пахнет чаем и во рту становится просто водой. Я отодвигаю поднос.

Во рту сухо после дыма. Я провожу языком по внутренней стороне щеки, по зубам, по губе, проверяя не вкус уже — хоть что-нибудь. Всё на месте: шершавость, влажность, тепло. Только того, чем я всю жизнь отличала одно от другого, нет. После пожара должно было остаться горько. Должно было пахнуть гарью, саднить горло, хотелось бы пить. Я знаю, каким бывает пепел, если случайно попадёт в рот: сухой, горький, грязный. Теперь горечи тоже нет. Есть только сухая шершавость на языке, и мозг почему-то прямо называет её пеплом.

Глава 4

Утром врач приносит мне диагноз, который ничего не объясняет.

— После сильного стресса такое бывает, — говорит он, листая результаты анализов. — Плюс дым, раздражение слизистой, лекарства. Дайте организму время.

Я сижу на кровати и держу на ладони пакетик сахара. За ночь я успела проверить его четыре раза. Результат не меняется: кристаллы царапают язык, растворяются, исчезают. Ни сладости, ни хотя бы слабого намёка на неё.

— Сколько времени?

— По-разному. Несколько дней. Иногда дольше.

— Насколько дольше?

Врач поднимает взгляд от бумаги. Я ему уже надоела, это видно по тому, как он осторожно выбирает слова, чтобы не дать мне новую тему для вопросов.

— Сейчас рано говорить о сроках. Основные показатели у вас хорошие. Обоняние сохранено, слизистая без серьёзных повреждений. Невролог посмотрит ещё раз перед выпиской.

— То есть вы не знаете.

— То есть сейчас нет признаков, что это навсегда.

Это должно успокаивать. Почему-то не успокаивает. На тумбочке стоит завтрак: манная каша, хлеб, масло, чай. Я распознаю всё глазами и носом. Каша пахнет горячим молоком, масло — холодильником и сливками, чай — крепкой заваркой. Когда ем, остаются только температура и консистенция. Каша мягкая и тёплая, масло жирное, хлеб пружинит под зубами. Можно было бы закрыть глаза и перепутать половину тарелки с чем угодно похожим по текстуре. Врач спрашивает, была ли тошнота, головокружение, провалы памяти. На последнем я вспоминаю чужую ладонь на запястье и ту короткую вспышку в дыму, где видела собственную спину будто со стороны.

— Перед тем как потерять сознание, мне показалось кое-что странное.

— Что именно?

Я уже открываю рот, но вовремя слышу, как это будет звучать. Чужой страх. Картинка, которая не могла быть моей. В больнице это отличный способ получить ещё пару консультаций, только не тех, которые мне нужны.

— Ничего. Дым перед глазами.

Он записывает что-то в карту. Через час приходит следователь. Фамилия у него Крылов, имя я забываю сразу. Он снимает куртку, ставит на подоконник папку и спрашивает разрешения сесть. На вид ему лет сорок, волосы короткие, под глазами серые тени, на правом ботинке засохла грязь. От него пахнет улицей и дешёвым кофе.

— Я понимаю, что вы после больницы...

— Я ещё в больнице.

Он чуть кивает.

— Тем более. Если устанете, остановимся.

Мне не хочется останавливаться. Мне хочется знать, почему сгорело место, где я была четыре часа до пожара, и почему моя сестра оказалась внутри. Крылов начинает с простого: когда я уехала, кто имел ключи, кто должен был прийти первым, работала ли сигнализация, были ли конфликты с сотрудниками, поставщиками, арендодателем. На большинство вопросов я отвечаю быстро. Ключи — у меня, Лизы, старшего смены и уборщицы. Сигнализацию обслуживали по договору. Открытого огня в цехе нет, газовых плит нет, печи и индукция были выключены. Перед уходом я проверила заднюю дверь. На слове «заднюю» он поднимает глаза.

— Точно?

— Точно.

— Кто ещё мог её открыть после вас?

— Лиза, если приехала раньше. Сотрудники. У всех, кто открывает смену, есть доступ.

— Ваша сестра уже разговаривала с коллегами?

— Она еле разговаривает вообще.

— Я не собираюсь тревожить её сейчас.

Я сжимаю край одеяла и разжимаю. Крылов ждёт, не торопит, и это бесит меньше, чем могло бы.

— Причина известна?

— Пока нет окончательного заключения.

— А неокончательно?

— Есть несколько версий.

— Каких?

Он закрывает ручку колпачком.

— Ника, я не хочу давать вам версию до экспертизы. Потом окажется, что это была проводка, а вы неделю будете искать поджигателя.

— Значит, поджог тоже рассматриваете.

Он смотрит на меня пару секунд, потом снова открывает ручку.

— Рассматриваем всё.

После него остаётся визитка. Я кладу её рядом с пакетиками сахара, как будто это предметы одного порядка. К обеду приезжает женщина из страховой. Не агент, с которым я оформляла полис, а кто-то из отдела урегулирования. Она представляется Мариной Викторовной, кладёт на колени тонкую папку и сразу начинает с соболезнований. Слово «соболезную» обычно говорят после смерти, поэтому я поправляю её:

— Никто не умер.

Она моргает.

— Разумеется. Я имела в виду ваше помещение и ущерб.

— Помещению соболезновать не надо. Скажите, когда будет выплата.

Разговор после этого быстро становится менее сочувственным. Никаких сроков она не даёт. Нужно заключение пожарных, опись имущества, подтверждение стоимости оборудования, акты обслуживания систем, договор аренды, документы на ремонт, выписки, фотографии. Часть у меня есть в облаке, часть осталась в офисном шкафу, который сейчас либо залит водой, либо лежит под потолком.

— Предварительная выплата возможна?

Марина Викторовна складывает руки на папке.

— Пока устанавливается причина пожара, решение по авансовой выплате принимать рано.

— У меня зарплаты через девять дней.

— Я понимаю.

Нет, не понимает. Но спорить с этим словом бессмысленно.

— Аренда оплачена за два месяца вперёд, оборудование в кредите, сестре нужна реабилитация. Мне не нужно «понимаю». Мне нужно знать, что делать.

Она выдерживает паузу и перечисляет документы ещё раз, уже медленнее. Я записываю. Это действие хотя бы знакомое: список, последовательность, галочки. Когда не знаешь, что делать, делаешь то, что можно посчитать. Марина Викторовна уходит, а я открываю заметки в больничном планшете, который мне дала Лиза через медсестру. Телефон мой так и не нашли. Составляю три списка: страховая, сотрудники, Лиза. В последнем всего два пункта — узнать про реабилитацию и привезти ей вещи. В первом двадцать один. Ближе к вечеру меня снова пускают к сестре. Лиза выглядит лучше. Это не значит хорошо, просто сегодня она уже может ругаться шёпотом.

— Ты работаешь? — спрашивает она, заметив планшет.

— Нет.

— У тебя лицо рабочее.

— У меня одно лицо.

— Неправда. Есть ещё то, которым ты смотришь на людей, которые кладут макарон в холодильник без крышки.

Я ставлю планшет на тумбочку.

— Как дышится?

— Как будто меня заставили курить всю ночь через полотенце. Врачи говорят, пройдёт.

Она отворачивается к окну. Я не спрашиваю про заднюю дверь. Крылов, пожар, время её приезда — всё поднимается в горло вместе с вопросом, но здесь он звучал бы как обвинение, даже если я произнесу самым мягким голосом.

— Мне сказали, ты зашла внутрь, — говорит Лиза.

— Кто сказал?

— Медсестра. Она сказала, тебя кто-то вытащил.

— Очень полезная женщина.

— Ника.

— Что?

Лиза медленно поворачивает голову.

— Ты совсем больная?

— Судя по документам, нет. Просто без вкуса.

Шутка выходит хуже, чем я рассчитывала. Лиза перестаёт хмуриться.

— В смысле без вкуса?

— В прямом. Врач говорит, после дыма бывает.

— Совсем?

— Совсем.

Она тянется к стакану воды, пальцы дрожат. Я сразу подаю его, но держу за нижнюю часть, чтобы ей было удобнее взять. Наши пальцы не соприкасаются. Я отмечаю это случайно, только потому, что после пожара замечаю руки чаще, чем раньше.

— Пройдёт, — говорит Лиза.

— Конечно.

Мы обе произносим это так уверенно, что можно было бы поверить. На следующий день меня переводят из кислородной палаты в обычную и обещают выписать после ещё одного осмотра. К полудню я уже знаю, где в коридоре лучше ловит связь, какая медсестра забывает закрывать дверь процедурной и во сколько привозят нормальный кофе в автомат на первом этаже. Тогда же появляется Роман Ярцев. Он спрашивает мою фамилию у поста, и я слышу своё имя из палаты. Через минуту в дверях стоит высокий мужчина в дорогом тёмном пальто, слишком аккуратном для больницы. Ему около сорока. Волосы короткие, на висках немного седины. В руках ничего — ни цветов, ни пакета с фруктами, и за это я ему почти благодарна.

— Ника Соболева?

— Да.

— Роман Ярцев. Здание принадлежит моей компании.

Я сразу вспоминаю фамилию в договоре аренды. Самого владельца видела дважды: один раз на подписании, второй — когда зимой прорвало трубу в подвальном помещении. Тогда он приехал через сорок минут и два часа разговаривал с аварийщиками. Я запомнила голос лучше лица.

— Я хотел приехать раньше, но следователь попросил не мешать, — говорит он. — Как ваша сестра?

— Жива.

— Слава богу.

Он произносит это тихо и без театра. Потом спрашивает про меня, про ожоги, предлагает помощь с временным помещением, если у компании останутся свободные площади. Я слушаю и пытаюсь понять, зачем он пришёл лично. Из вежливости? Из страха перед иском? Потому что нормальные владельцы зданий действительно приезжают к арендаторам после пожара?

— Пожарные что-то сказали? — спрашиваю я.

— Мне — нет. Экспертиза идёт.

— Страховая уже ищет, чем не платить.

На лице у него появляется усталое раздражение.

— Они всегда сначала ищут это.

— Вы поможете с документами по зданию?

— Разумеется. Всё, что у нас есть.

Он достаёт визитку, кладёт на тумбочку и делает движение к двери. Я автоматически встаю, хотя врач велел не геройствовать. Роман тоже останавливается.

— Ещё раз... Мне очень жаль, Ника.

Я протягиваю руку. Не потому, что хочу. Потому что так заканчиваются деловые разговоры. Три года я пожимаю руки поставщикам, владельцам помещений, банкам, подрядчикам. Тело делает это раньше головы. Его ладонь сухая и тёплая. И мир выворачивается. Не боль. Не головокружение. Сначала приходит облегчение — огромное, тяжёлое, почти жирное. Оно расправляется внутри меня так нагло, что на секунду я сама хочу засмеяться. Всё обошлось. Самое страшное не случилось. Можно дышать. Но это не моё. Сразу за чувством вспыхивает картинка: открытый багажник машины, серый утренний свет, красная пластиковая канистра на чёрном ковролине. Чья-то рука резко захлопывает крышку.

Три секунды. Может, меньше. Я отдёргиваю ладонь. Роман смотрит на меня.

— Вам плохо?

Облегчение исчезает так же резко, как пришло. Остаётся моя палата, запах антисептика, горячая батарея у окна и собственное дыхание, которое вдруг стало слишком частым.

— Нет.

Он не верит.

— Позвать врача?

— Не надо. Встала быстро.

Я сажусь обратно и убираю руку под одеяло. На коже ничего нет. Ни следа, ни жара, ни ощущения, что через неё только что прошло что-то чужое. Роман ещё раз предлагает помощь и уходит. Я жду, пока шаги в коридоре стихнут, потом смотрю на его визитку. Роман Ярцев. Управляющая компания. Телефон, почта, адрес офиса. Под визиткой лежит пакетик соли, который я оставила с завтрака. Я высыпаю немного на язык. Никакого вкуса. Красная канистра остаётся перед глазами гораздо отчётливее, чем должна была бы оставаться случайная галлюцинация.

Глава 5

До утра я нахожу для красной канистры семь нормальных объяснений. Первое: я видела её на пожаре и не помню. Второе: видела похожую раньше, например у грузчиков во дворе. Третье: мозг собрал картинку из разговоров про поджог. Четвёртое: лекарства. Пятое: последствия дыма. Шестое: недосып. Седьмое мне нравится больше всего — ничего не было, я просто перегрелась, встала слишком быстро и теперь придаю значение трём секундам помутнения. С облегчением сложнее. Ярцев пришёл к женщине, у которой сгорел бизнес и пострадала сестра. Облегчение — последнее чувство, которое я ожидала от него получить, даже если предположить, что я каким-то невероятным образом могла его получить. Он выглядел уставшим, говорил правильно, предлагал документы и помощь. Не улыбался, не спешил уйти. Никаких внешних признаков того жирного внутреннего «обошлось», которое ударило меня при рукопожатии.

В восемь утра я сдаюсь и решаю проверить. Это решение не выглядит безумным только первые десять секунд. Потом в палату входит медсестра Оля, и я понимаю, что собираюсь намеренно потрогать другого человека, чтобы посмотреть, появится ли у меня в голове чужая картинка. Если сформулировать так, разумнее сразу позвать психиатра.

— Давление, — говорит Оля и ставит аппарат на тумбочку.

Я знаю её два дня. Она лет на пять старше меня, носит маленькие серебряные серьги и всегда пахнет кремом для рук с чем-то цитрусовым. Сегодня под глазами у неё тени, а волосы собраны кое-как, несколько прядей выбились на шею.

— Вы ночью вообще спите? — спрашиваю я.

— Иногда. По праздникам.

Она надевает манжету на мою руку. Ткань касается кожи, но ничего не происходит. Это я отмечаю сразу. Ни чужого чувства, ни вспышки. Потом Оля тянется к моему запястью, чтобы поправить датчик. Её пальцы голые. Я могла бы просто подождать. Вместо этого поворачиваю ладонь и на секунду накрываю её руку своей. Усталость приходит первой. Не моя обычная после ночи в цехе — та хотя бы честная, тяжёлая в мышцах. Здесь усталость вязкая, раздражённая, такая, от которой хочется, чтобы все перестали что-нибудь требовать. Сразу за ней поднимается стыд, острый и горячий. Короткая вспышка: тёмная кухня, открытая дверь, чья-то фигура в коридоре. Женский голос — кажется, Олин собственный — говорит слишком резко: «Не сейчас». Дверь закрывается.

Всё исчезает. Я убираю руку. Оля продолжает поправлять провод, будто ничего не случилось.

— Сто двадцать на семьдесят пять. Жить будете.

Я смотрю на неё.

— Вы вчера с кем-то поссорились?

Пальцы у неё замирают на аппарате. Совсем ненадолго.

— А вы теперь ещё и гадаете?

Она улыбается, но не так, как обычно.

— Просто спросила.

— Тогда нет. Не поссорилась.

Ответ достаточно быстрый, чтобы я больше не задавала вопросов. Когда она выходит, я сажусь на кровати и долго рассматриваю ладонь. Кожа обычная. Линии, небольшая сухость у большого пальца, след от больничного пластыря. Я тру её о простыню, сжимаю пальцы. Ничего. Мне нужно второе подтверждение. Именно так люди делают глупости: сначала совершают одну, потом называют следующую проверкой достоверности. На обход приходит тот же врач, который говорил про стресс. Фамилия у него Волков. Я успела прочитать на бейдже, хотя

до этого звала его мысленно просто врачом, потому что не собиралась строить отношения. Он спрашивает про дыхание и вкус. Я честно говорю, что без изменений.

— Невролог будет после обеда. Если у него не будет возражений, завтра домой.

— А если вкус не вернётся?

— Наблюдение амбулаторно.

Он говорит это в третий раз, и я знаю, что следующим будет «дайте время».

— Вы очень любите эту фразу?

— Какую?

— «Дайте время».

— Она бесплатная и часто работает.

Это даже смешно. Волков протягивает мне направление, чтобы я расписалась в ознакомлении. Я беру бумагу так, чтобы мои пальцы коснулись его. Сначала ничего. Я почти успеваю выдохнуть. Потом приходит скука. Тяжёлая, профессиональная, беззлобная. Не «мне наплевать на вас», а «я делаю одно и то же с восьми утра и ещё буду делать до вечера». Вместе с ней вспыхивает коридор под белыми лампами, одинаковые двери палат и собственный голос Волкова, повторяющий кому-то: «Сейчас рано делать выводы». Я отпускаю направление.

— Что? — спрашивает он.

— Ничего.

— Вы побледили.

— Здесь освещение такое.

Волков прищуривается, но спорить не хочет. Скука уже исчезла, зато теперь я точно знаю, что это не галлюцинация, привязанная к Ярцеву. И это гораздо хуже. После обхода я закрываю дверь палаты и устраиваю себе допрос. Факт первый: что-то происходит, когда я касаюсь голой кожи другого человека. Факт второй: сначала приходит чувство, которое мне не принадлежит. Факт третий: вместе с ним появляется короткая картинка. Не всегда понятная, не всегда полезная. Я не услышала ни одной законченной мысли, не узнала имя человека за Олиной дверью, не получила историю её ссоры. Только стыд и несколько секунд памяти. Факт четвёртый: через одежду ничего не произошло. Манжета касалась моей руки, Оля держала меня через ткань — пусто.

Мне хочется записать это. Раньше список помогал. Теперь сама мысль увидеть такие пункты на экране кажется опасной. Если записать, придётся признать, что всё настоящее. Я всё равно записываю. На планшете появляется короткая заметка: «Кожа. Чувство. Картинка». Я смотрю на неё минуту и удаляю. В дверь стучат. Не дожидаясь ответа, входит санитарка с чистым бельём. Я резко отодвигаюсь к окну.

— Я только простыню поменяю.

— Оставьте, я сама.

— Вам нельзя пока тягать матрас.

— Я справлюсь.

Она пожимает плечами и кладёт бельё на стул. Раньше я бы не заметила, насколько часто люди прикасаются друг к другу. Медсестра берёт за локоть, санитарка поправляет подушку, врач придерживает кисть, когда смотрит ожог, посетитель передаёт стакан и цепляет пальцы. В больнице это особенно естественно: твоё тело здесь наполовину общественное, его осматривают, измеряют, двигают. К обеду я начинаю заранее убирать руки. Стакан беру за край до того, как его подаст санитарка. При измерении температуры сама вставляю термометр. Когда Оля приходит менять пластырь на катетере, держу ладонь прижатой к бедру.

— Ты сегодня какая-то дёрганая, — говорит она.

Мы неожиданно перешли на «ты» после того, как я спросила о её вчерашней ссоре. Не уверена, что это дружеское достижение.

— Хочу домой.

— Все хотят.

Она надевает перчатки. Латекс касается моей кожи. Ничего. Я слежу за её пальцами внимательнее, чем за процедурой. Оля замечает.

— Больно?

— Нет.

Боль есть — маленькая, обычная, когда она отрывает пластырь. Я почти рада ей. Моя. Понятная. Никому другому не принадлежит. После обеда прихожу к Лизе и впервые не беру её за руку. Она этого не замечает. Либо делает вид. Ей сняли кислородную маску, остались тонкие трубки под носом. Голос всё ещё слабый, но она уже может говорить длиннее двух предложений и сразу использует это против меня.

— Мама звонила пять раз.

— Почему мне не сказала?

— Потому что ты бы позвонила ей и начала успокаивать, а потом она приехала бы сюда из Ярославля и успокаивать пришлось бы уже двоих.

— Она всё равно приедет.

— Я сказала, что пожар маленький.

— Лиза.

— Я была под кислородом. Мне можно врать плохо.

Она улыбается, потом кашляет. Я подаю воду и ставлю стакан на столик, чтобы она взяла сама. Движение получается слишком заметным. Лиза смотрит сначала на стакан, потом на меня.

— Ты чего?

— Что?

— Ничего.

Мы одинаково плохо умеем делать вид, что вопрос исчез. Я сажусь ближе, но руки прячу в рукава больничной кофты. Мне хочется коснуться её лба, как в детстве, когда она болела, или просто сжать пальцы. Одновременно я боюсь узнать, что сейчас внутри у сестры. Страх? Вина? Злость на меня за то, что я полезла в огонь? Что-нибудь, чего она не скажет. Пока не знаю, как это остановить, лучше не начинать.

— Следователь приходил? — спрашиваю.

— Нет. Сказали, потом.

— Ты помнишь, что было утром?

Лиза смотрит на одеяло.

— Кусками.

— Не надо сейчас. Потом.

Она кивает слишком быстро. Это движение я тоже замечаю и тут же заставляю себя не разбирать. Я не следователь. И уж точно не имею права превращать сестру в человека, которого надо потрогать ради ответа. На обратном пути в лифте нас трое: я, женщина с пакетом яблок и пожилой мужчина в халате. На втором этаже двери открываются, внутрь пытаются войти ещё двое. Женщина с яблоками сдвигается, её голая кисть задевает мою. Чужое раздражение бьёт коротко — теснота, больница, тяжёлый пакет. На долю секунды мелькает касса магазина и рассыпавшаяся мелочь на прилавке. Я отскакиваю к стене так резко, что мужчина в халате вздрагивает.

— Простите, — говорю я.

Женщина смотрит на меня как на ненормальную. Возможно, справедливо. В палату возвращаюсь по лестнице. До вечера я проверяю границы, но уже без людей. Ткань рукава. Резиновая перчатка, которую беру у Оли. Салфетка между ладонями. Никаких вспышек, конечно. От предметов — тоже. Можно держать чужую кружку, ручку, телефон, и там нет ничего. Нужен живой человек. Нужна кожа. Это успокаивает ровно настолько, насколько может успокаивать

знание, что опасность имеет конкретное условие. Перед сном соседка за занавеской наконец отодвигает её. Я впервые нормально вижу женщину, которая три дня читала рядом со мной. Ей за шестьдесят, седые волосы коротко подстрижены, на носу очки в тонкой оправе. Она сидит, поджав одну ногу, и держит книгу раскрытой на пальце.

— Ты людей теперь обходишь, как горячую плиту, — говорит она.

Я смотрю на неё.

— Простите?

— Вчера не обходила.

— Мы знакомы?

— Три дня в одной палате. Для больницы почти родня.

Она возвращается к книге, будто разговор закончен.

— Вы за мной следили?

— Тут больше не за чем.

Я уже собираюсь отвернуться, когда она добавляет:

— Через огонь прошла?

Вопрос заставляет меня замереть.

— Все здесь знают про пожар.

— Я не про пожар.

Она переворачивает страницу.

— Тогда про что?

Женщина поднимает глаза вверх очков.

— Если завтра ещё будешь дёргаться от рук, расскажу.

Глава 6

Утром я решаю, что соседка просто любит загадочные фразы. Это удобнее, чем допустить другой вариант. Она просыпается раньше меня, хотя ночью читала почти до двух. Когда приносят завтрак, спокойно намазывает масло на хлеб и пьёт чай маленькими глотками. На её тумбочке лежит книга, очки и пластиковый стаканчик с таблетками. Ничего мистического. Обычная женщина в больничной палате. Я ем овсянку и снова не чувствую ничего, кроме тепла и вязкости. Запах корицы есть — в кашу её насыпали щедро, будто это способ компенсировать всё остальное. Я пытаюсь по запаху угадать, сколько сахара, и злюсь на себя. Сахар нельзя определить носом так, как вкусом. Мозг всё время достраивает привычное, подсовывает ожидание сладости, но язык молчит.

Соседка замечает, что я смотрю на её хлеб.

— Хочешь?

— Нет.

— Тогда чего считаешь мои куски?

— Профессиональная деформация.

— Кассир?

— Кондитер.

Она кивает, будто это что-то подтверждает.

— Плохо.

— Спасибо за поддержку.

— Я не про профессию. Хотя ночью работать тоже глупость.

Я откладываю ложку.

— Вчера вы сказали, что знаете, почему я не хочу касаться людей.

— Не сказала, что знаю. Спросила, прошла ли ты через огонь.

— Прошла.

— Тогда слушай.

Она произносит это без пафоса, просто отодвигает поднос, вытирает пальцы салфеткой и садится удобнее. Я вдруг вспоминаю её вчерашнюю фразу и чувствую раздражение: если сейчас последует история про ауру, судьбу или очищение пламенем, я попрошу перевести меня в коридор.

— Сначала имя, — говорит она. — Тамара Ильинична.

— Ника.

— Знаю. Тебя полпалаты знает.

— Очень приятно.

— Не ворчи. И руку не тяни, знакомиться будем словами.

Вот тогда мне становится не смешно. Тамара Ильинична смотрит на мои руки, спрятанные в длинные рукава кофты.

— Что приходит?

Я молчу.

— Чувство? Потом кусок памяти?

Ложка падает у кого-то в коридоре. Я слышу металлический звон слишком отчётливо.

— Откуда вы знаете?

— Потому что у меня было то же самое.

— Было?

— Есть. Просто я им не пользуюсь.

Я оглядываю её лицо, руки, тумбочку. Ищу признак шутки, деменции, сговора с Олей — хоть что-нибудь. Тамара Ильинична ждёт спокойно.

— Вы знаете про медсестру?

— Какую медсестру?

— Я вчера...

Останавливаюсь. Если она действительно не знает, рассказывать Олину историю я не имею права.

— Неважно.

— Уже лучше, — говорит Тамара Ильинична. — Первое, чему придётся научиться: чужое не становится твоим только потому, что тебе показали.

— Кто показал?

— Не знаю. И тебе знать не обязательно.

— Отлично. Значит, объяснения не будет.

— Объяснения нет. Правила есть.

Я почти смеюсь.

— Конечно.

— Хочешь жить нормально — перестань кривиться и слушай.

Тон у неё такой, каким я разговариваю с новенькими на кухне, когда они в третий раз ставят тёплый ганах в холодильник без крышки. Это почему-то действует. Я кладу руки поверх одеяла.

— Ладно.

Тамара Ильинична показывает три пальца.

— Первое: только кожа к коже. Через ткань ничего. Перчатка — ничего. Хоть обнимай человека в зимнем пуховике, получишь только пуховик.

Я вспоминаю манжету тонометра и Олины перчатки.

— Проверила уже?

— Да.

— Все проверяют.

Она загибает палец.

— Второе: ты не читаешь мысли. Никогда. Не вздумай поверить, что читаешь. Приходит чувство и один короткий кусок памяти, который к этому чувству привязан. Ты можешь понять его правильно. Можешь неправильно. Это всё равно чужая память, а не справка из архива.

Красная канистра в багажнике вспыхивает перед глазами. Облегчение Романа Ярцева. Я не рассказываю.

— А если я вижу что-то конкретное?

— Конкретное тоже можно понять неправильно. Увидишь нож — решишь, убийца. А человек вчера хлеб резал и боялся порезаться.

— Очень обнадеживает.

— Я не для этого рассказываю.

Второй палец загибается.

— Третье: выбирать, что взять, не получится. Ни человека внутри, ни воспоминание. Можно полезть за любовью и получить, как он в детстве боялся собаку. Можно искать вину и поймать зубную боль от прошлого года. Чувство ведёт память, а не ты.

— Но я могу выбрать человека.

— Это уже достаточно опасно.

Я смотрю на её три загнутых пальца.

— Всё?

— Правила — всё. Теперь предупреждение.

Тамара Ильинична снимает одеяло с колен и протягивает руки ладонями вверх, но не ко мне — просто кладёт их на свои ноги. Сначала я вижу обычные возрастные руки: тонкая кожа, выступающие вены, широкое обручальное кольцо. Потом замечаю шрамы. На левой ладони

светлое пятно у основания большого пальца. На правом запястье неровная блестящая кожа. Два пальца покрыты мелкими следами старых ожогов.

— Оно берёт плату, — говорит она.

— Что именно?

— Тебя.

— Это не ответ.

— Другого нет.

Она берёт кружку с чаем. Пар ещё идёт, кружка наверняка горячая. Тамара обхватывает её обеими ладонями и держит спокойно.

— Я не чувствую температуру.

Я смотрю на её пальцы.

— Совсем?

— Совсем. Горячо, холодно — знаю по пару, по людям, по термометру. Не по коже.

— Из-за этого?

— Да.

Она кивает на шрамы.

— Первое время забывала. Снимала крышку с кастрюли, брала чашку, проверяла воду рукой. Потом научилась смотреть.

У меня сводит живот.

— Вы хотите сказать, я тоже потеряю температуру?

— Я сказала только то, что сказала. У меня взяло это. У тебя уже что-то взяло.

— Вкус.

Слово выходит тихо. Тамара Ильинична впервые выглядит не строгой, а усталой.

— После огня?

— Утром после пожара. До того всё было нормально.

— Значит, считай это первым предупреждением.

— Но я никого тогда не...

Замолкаю. Чужая ладонь в дыму. Страх такой сильный, что я потеряла сознание. Короткая картинка с моей спиной в дверном проёме. Я откидываюсь на подушку.

— В пожаре меня кто-то вытащил.

— Кожа была?

— Он схватил за запястье.

— И что пришло?

— Страх.

— Его?

— Тогда я думала, мой.

— А память?

Я описываю только белый рукав и дым. Без Романа, без канистры. Тамара слушает, не перебивая.

— Похоже, — говорит она.

— На что?

— На начало.

Мне не нравится это слово.

— Почему огонь?

— Не знаю.

— У вас тоже был пожар?

Она поправляет край одеяла.

— Был.

— Где?

— Это не поможет тебе.

— Откуда вы вообще знаете правила, если никто ничего не объясняет?

— От женщины, которая объяснила мне. Ей — кто-то до неё. Дальше не знаю.

— То есть это передаётся?

— Не говорила.

— Тогда что?

— Ника.

В её голосе появляется сталь.

— Я обещала правила, а не мифологию. Не придумывай устройство мира там, где у тебя нет данных. Это вредная привычка.

Мне хочется сказать, что я как раз пытаюсь получить данные, но формулировка слишком похожа на мою собственную. Я замолкаю. Тамара Ильинична ставит кружку на стол.

— Главное — не проверяй людей ради любопытства. Очень быстро начнёшь объяснять себе, почему имеешь право. Он врёт. Она что-то скрывает. Это же моя сестра. Это же мой муж. Это же важно. Потом чужая жизнь становится дверью без замка.

Я думаю о Лизе. О том, как вчера специально поставила стакан так, чтобы не коснуться её пальцев.

— А если важно на самом деле?

— Тогда решишь сама. Только цена от важности не уменьшается.

— Вы сказали, «оно берёт плату». Каждый раз?

— Я сказала достаточно.

Это раздражает, но я понимаю границу. Она не знает или не хочет превращать опыт в точную бухгалтерию. И всё же я начинаю проверять себя прямо на месте. Провожу ладонью по металлической спинке кровати. Холодная. Касаюсь чашки — тёплая. Щипаю кожу на предплечье — больно. Подношу мыло к носу — чувствую резкий запах. Осязание на месте. Всё, кроме вкуса. Тамара наблюдает.

— Так все делают, — повторяет она.

— Я люблю инвентаризацию.

— Кондитер.

— Именно.

— Не поможет.

— Поможет понять, когда что-то пропадёт.

Она ничего не отвечает. После обеда меня выписывают. Волков говорит беречь лёгкие, не напрягаться, наблюдать ожог, прийти к неврологу через неделю, если вкус не начнёт возвращаться. Я киваю и складываю бумаги в папку. Теперь фраза «если не начнёт возвращаться» звучит иначе. Оля снимает катетер. На этот раз я не дёргаюсь, потому что она в перчатках.

— Домой наконец, — говорит она.

— Похоже на то.

— Сестра ещё останется дня на три-четыре, но там всё хорошо идёт.

— Спасибо.

Я почти автоматически хочу пожать ей руку, потом останавливаюсь. Оля замечает и просто машет пальцами.

— Давай без официальной части.

— Отличный план.

Перед уходом я подхожу к Тамаре. Она опять читает.

— Вы когда выписываетесь?

— Через два дня.

— Можно ваш номер?

— Зачем?

— Чтобы задавать вопросы, на которые вы не отвечаете.

Она фыркает, но диктует телефон. Я записываю на бумажке, потому что планшет нужно вернуть сестре.

— И ещё, — говорит Тамара Ильинична, когда я надеваю куртку. — Не делай из этого дар.

— А что это?

— Неполадка.

— Очень оптимистично.

— Зато не начнёшь считать себя особенной.

Я засовываю записку с номером в карман.

— Поздно. Я шеф-кондитер. Мы все считаем себя особенными.

Она улыбается впервые за весь разговор. На улице холодно и солнечно. Я останавливаюсь у больничного входа и несколько секунд просто стою, позволяя ветру бить в лицо. Чувствую его. Чувствую холод на щеках, шероховатость ремня сумки в ладони, боль от заживающего ожога, запах машин и мокрой земли. Всё это моё. Я перечисляю ощущения про себя, пока иду к такси. Не из благодарности. Чтобы запомнить.

Глава 7

Через три дня после выписки я впервые возвращаюсь к «Соли». До этого нахожу много причин не ехать. Нужно отвезти вещи Лизе, поговорить с бухгалтером, собрать счета на обслуживание, ответить сотрудникам, которые спрашивают, будет ли работа в следующем месяце. Страховая присылает список документов на четыре страницы. Следовательно просит выгрузку с камер, которых у меня больше нет. Банк напоминает о платеже по печи так вежливо, будто печь не лежит сейчас под обгоревшим потолком. Но часть бумаг осталась в помещении, а собственник разрешил зайти после пожарных. Поэтому в десять утра я стою за металлическим ограждением и смотрю на то, что ещё неделю назад называла своим цехом.

Запах здесь другой, чем в день пожара. Тогда всё было горячим, мокрым, резким. Теперь гарь остыла. Пахнет копотью, сырой штукатуркой и чем-то кислым от воды, которая несколько дней стояла под полом. Я различаю каждый запах и ненавижу себя за то, что после разговора с Тамарой радуюсь самому факту: нос работает. На входе мне выдают каску, перчатки и требуют не сходить с размеченного прохода.

— Пятьдесят минут максимум, — говорит мужчина из управляющей компании. — Если что-то нужно из дальней комнаты, скажите, сами не лезьте.

— Я уже один раз сама полезла. Второго не планирую.

Он не понимает, шучу я или нет, и правильно делает. В зале почти ничего не осталось от того, что делало его «Солью». Стекло витрины выбито, деревянная скамья почернела с одного края, штукатурка над входом осыпалась. Вывеску сняли и положили у стены. Буква «ь» треснула пополам. Я поднимаю её, потом вспоминаю про перчатки и собственные новые правила. Предметы безопасны, это я уже знаю, но всё равно странно держать что-то, что неделю назад висело над кассой. В цехе хуже. Я не пытаюсь считать ущерб сразу. Это как смотреть на провалившийся торт и в первую секунду искать, где именно ошибка. Сначала нужно признать: торта нет. Печь залита водой и покрыта чёрными потёками. Один холодильник распахнут, внутри на стенках серый налёт. Стеллаж у дальней стены повело от жара. Рабочий стол, у которого я варила последнюю карамель, стоит на месте, но край столешницы искривился, а под ним валяется перевернутый контейнер.

Я знаю, что в нём было. «Персоналу». Четвёртая партия. Крышка расплавилась. Я приседаю рядом, не касаясь, и почему-то вспоминаю Лизу с ложкой в руке: «Не понимаю, чем эта хуже». Тогда я ответила, что это потому, что у неё нет вкуса. Теперь смешно не становится. В офисном шкафу уцелела нижняя металлическая секция. Бумаги внутри мокрые по краям, часть слиплась, но папка с договорами закрывалась плотно. Я складываю то, что можно спасти, в пластиковый ящик. Аренда, поставщики, сервис холодильников, электрика, санитарные журналы. Документы по пожарной системе я не нахожу. Может, были в верхнем ящике. Может, копии только у собственника. Страховая требует их отдельным пунктом и уже второй день отвечает на письма формулировкой «после предоставления полного комплекта».

На телефоне звонит бухгалтер.

— Только не говори, что денег нет, — отвечаю я.

— Тогда я помолчу.

— Очень поддерживающе.

— Ника, я серьёзно. На зарплаты хватит, если не платить поставщикам до следующей недели. На аренду мы уже заплатили. Кредит за печь спишется автоматически пятнадцатого.

Я смотрю на печь.

— Пускай. Ей будет приятно.

— Можно попробовать попросить отсрочку.

— Попробую.

— И ещё Лизина реабилитация. Она прислала счёт из клиники.

— Я оплачу.

— Из чего?

— Найду.

Бухгалтер молчит. Она знает меня три года и понимает, что спор сейчас ничего не даст.

— Страховая?

— Ждёт документы.

— Предварительно что говорят?

— Предварительно говорят «ждите».

— Плохо.

— Спасибо, ты вторая за неделю, кто дал профессиональную оценку.

После разговора я открываю банковское приложение. Закрываю. Снова открываю, будто цифры могли измениться от настойчивости. Зарплаты я выплачу. Лизину реабилитацию тоже. Потом останется вопрос, чем платить за всё остальное и что делать людям, которых я три года собирала в команду. Сказать «кондитерской больше нет» просто. Сказать это человеку, который взял ипотеку месяц назад, сложнее. Я ношу бумаги к выходу, когда слышу за спиной мужской голос.

— Ника Соболева?

Резко оборачиваюсь. У входа в цех стоит мужчина в тёмной куртке. Каска у него под мышкой, не на голове, за что сотрудник управляющей компании сразу делает замечание. Мужчина молча надевает её и только потом подходит ближе. Ему около тридцати пяти. Высокий, тёмные волосы коротко подстрижены, на левой брови тонкий старый шрам. Лицо не кажется знакомым. После пожара я невольно проверяю всех мужчин подходящего роста, пытаюсь совместить с силуэтом в дыму, но там у меня нет нормального лица для сравнения. Он останавливается в двух шагах.

— Глеб Ярцев.

Фамилия цепляет сразу.

— Родственник Романа?

— Брат.

У меня автоматически напрягаются плечи.

— Ещё один собственник здания?

— Нет.

Он не объясняет дальше. Вместо этого протягивает мне тонкую картонную папку — именно папку, не руку.

— Я занимался здесь пожарной безопасностью. В вашей копии документов не хватает части актов. Это дубликаты.

Я беру папку за край. Наши пальцы не касаются. На обложке написан адрес здания и несколько дат. Внутри акты проверок, сервисные листы, схемы, заявки по сигнализации. Я быстро листаю, не пытаюсь читать на месте.

— Почему они у вас?

— Рабочий архив.

— Почему их не дал ваш брат?

— У него другой комплект.

— Страховая просит всё по системе пожаротушения.

— Здесь не всё.

Я поднимаю голову.

— Очень обнадеживающая формулировка.

— Я принесу остальное, что найду.

Говорит он коротко, без попытки понравиться. На месте Романа уже было бы объяснение про специалистов, сроки и готовность содействовать. Глеб просто стоит и ждёт следующего вопроса.

— Система работала?

Он смотрит в сторону обгоревшего потолка.

— Это установит экспертиза.

— Я не спросила, что установит экспертиза.

Пауза.

— На последних проверках замечания были.

— Какие?

— Есть в актах.

— Критичные?

Он переводит взгляд на папку.

— Прочитайте.

Меня начинает злить его экономия слов.

— Вы всегда разговариваете как инструкция к огнетушителю?

— Обычно короче.

Я не удерживаюсь и фыркаю. Совсем не к месту. Глеб чуть опускает взгляд, будто проверяет, не смеюсь ли я над ним. Потом спрашивает:

— Сестра как?

— Лучше. Скоро выпишут.

— Хорошо.

Одно слово. Но он произносит его иначе, чем Роман своё «слава богу» в больнице. Я не успеваю понять, чем именно.

— Вы были здесь после пожара? — спрашиваю я.

— Был.

— С братом?

— Нет.

— А сейчас зачем пришли?

— Отдать документы.

— И всё?

— Да.

Он уже собирается уходить. Нормальный деловой разговор требует какой-то точки: контакта, номера, хотя бы «если что, звоните». На папке есть визитка, но я замечаю её только потом.

— Спасибо, — говорю я.

Глеб кивает. Я протягиваю руку. Жест выходит раньше мысли. В тот же момент вспоминаю Романа, Олю, Волкова и почти убираю ладонь обратно. Но Глеб не двигается первым. Просто смотрит на мою руку, потом на меня. Можно не касаться. Нужно не касаться. Я всё равно оставляю ладонь протянутой.

— Это я так проверяю деловых партнёров, — говорю, хотя шутка бессмысленная.

Он медленно снимает рабочую перчатку с правой руки и касается моей. Кожа тёплая, ладонь сухая, пальцы сжимают ровно настолько, сколько нужно для рукопожатия. Я жду удара. Ничего. Ни чувства. Ни обрывка. Ни чужой кухни, ни коридора, ни канистры, ни скуки. Только его ладонь в моей. Я не сразу отпускаю. Глеб тоже не вырывается, но пальцы не сжимает сильнее. Просто ждёт. Внутри тихо. За последние дни я успела привыкнуть, что прикосновение к человеку открывает дверь, которую я не просила открывать. Даже когда сама решаю коснуться, тело заранее напрягается, ожидая чужого. Здесь дверь не открывается вообще.

— Что? — спрашивает он.

Я наконец выпускаю его руку.

— Ничего.

Он надевает перчатку обратно.

— Если по документам будут вопросы, номер внутри.

— Хорошо.

Глеб разворачивается и идёт к выходу. Я остаюсь с папкой у груди и смотрю ему вслед, пока каска не исчезает за дверным проёмом. Потом перевожу взгляд на собственную ладонь. Там по-прежнему ничего. И впервые с того утра в больнице это «ничего» не пугает меня.

Глава 8

Я успеваю прочесть половину папки Глеба, прежде чем понимаю, что не помню ни одного пункта. Сажусь на складном стуле у входа в «Соль», документы лежат на коленях. Передо мной акт проверки сигнализации за февраль: дата, адрес, перечень работ, подписи. Я дохожу до конца страницы, переворачиваю и через секунду возвращаюсь обратно. В голове одна вещь — его ладонь. Ничего. После Тамары это слово должно означать проблему. Если правило работает со всеми, а с одним человеком нет, значит, либо правило неполное, либо я сделала что-то не так. Глеб ушёл минут пять назад. Далеко уйти не мог. Я закрываю папку и выхожу во двор. Он стоит у ворот и разговаривает с мужчиной из управляющей компании. Не жестикулирует, не повышает голос, просто слушает, иногда кивает. Между ними метра два. Когда разговор заканчивается, Глеб достаёт телефон.

Я могла бы вернуться к документам. Вместо этого иду к нему.

— Глеб.

Он оборачивается.

— Да?

— Ещё вопрос.

Телефон исчезает в кармане.

— Слушаю.

Я не придумала вопрос. Это становится очевидно нам обоим примерно одновременно.

— В этих актах есть обслуживание пожаротушения?

— Есть часть.

— Вы сказали, не всё.

— Не всё.

— Что именно отсутствует?

Он называет несколько документов: заключение по последнему обслуживанию, часть приложений, акт по одному из узлов. Я стараюсь слушать, но содержание проскальзывает мимо. Главное сейчас не бумаги, и это раздражает сильнее всего.

— Вы можете показать рукой, какой именно акт? Я принесу папку.

— Могу назвать дату.

— Я не запомню.

Он смотрит на меня внимательнее.

— Запишите.

— Телефон в пожаре сгорел.

— На визитке ручка есть.

— Вы очень неудобный человек.

— Мне говорили.

Я должна уйти. Вместо этого протягиваю руку и беру его за запястье. Сама. Голая кожа начинается между краем перчатки и рукавом куртки — узкая полоска. Пальцы попадают точно туда. Ничего. Только пульс под подушечкой большого пальца и тёплая кожа. Глеб опускает взгляд на мою руку.

— Ника.

— Подождите.

Он не двигается. Я тоже. Ветер тянет из двора запах мокрой гари. За ограждением кто-то переставляет металлическую лестницу, она скребёт по асфальту. Мимо проходят двое рабочих. Всё остаётся обычным, внешним, своим. Ни один чужой страх не влезает под кожу. Я отпускаю.

— Извините.

— За что это было?

Можно соврать. После последних дней я неожиданно стала лучше понимать, почему люди врут: правда часто требует слишком длинного объяснения.

— Проверяла кое-что.

— Проверили?

— Нет.

— Тогда плохо проверяли.

Он говорит это совершенно серьёзно. Я смотрю на него и вдруг смеюсь. Нервно, коротко, но по-настоящему. Глеб ждёт, пока я закончу.

— Вы всегда такой?

— Какой?

— Неважно.

Я возвращаюсь за папкой. Он мог бы уйти, пока меня нет, но остаётся у ворот. Это почему-то воспринимается как разрешение продолжить эксперимент, хотя никакого разрешения он не давал. Я открываю папку на первом акте.

— Покажите.

Глеб подходит ближе, но не касается меня. Палец останавливается над строкой, не опускаясь на мою руку.

— Вот этот. И дальше приложение три.

— Его нет.

— Поэтому и говорю.

— А это?

— Техническое обслуживание сигнализации.

Мы разбираем бумаги минут десять. Он отвечает коротко, но понятно. Ни разу не берёт папку из моих рук, если для этого нужно коснуться. Сначала я думаю, что он просто аккуратный. Потом замечаю закономерность: когда я держу лист за правый край, он берёт за левый; ручку кладёт на папку, а не передаёт мне; в узком проходе ждёт, пока я отойду. Тамара говорила, что люди быстро начинают объяснять себе, почему имеют право. Я уже объясняю. Мне нужно понять, почему с ним ничего нет. Это не любопытство. Это правило. Правила должны работать одинаково.

— У вас руки всегда в перчатках? — спрашиваю я.

Глеб смотрит на свои рабочие перчатки.

— На объекте — обычно.

— Снимите одну.

Пауза становится заметной.

— Зачем?

Вот здесь можно остановиться.

— Я после пожара странно реагирую на прикосновения.

Он не улыбается.

— Больно?

— Нет.

— Тогда как?

Я смотрю на его руку.

— Не хочу объяснять.

— Хорошо.

Он не спрашивает снова. И перчатку не снимает.

— Это всё?

— Вы не любите помогать людям с экспериментами.

— Какими?

— Тоже не хочу объяснять.

— Тогда нет.

Я снова смеюсь, хотя уже не смешно. Глеб забирает взгляд с меня и проверяет время.

— Мне надо ехать.

От одной мысли, что сейчас он уйдёт и вместе с ним исчезнет единственное место, где никто не вваливается мне под кожу, поднимается неожиданная паника. Это нелепо. Я знаю этого человека меньше часа.

— Подождите.

Он останавливается. Я сама снимаю с его правой руки перчатку. Движение настолько бесцеремонное, что понимаю это только когда ткань уже у меня в пальцах. Глеб не помогает и не сопротивляется. Смотрит на меня так, будто пытается решить, в сознании ли я.

— Простите, — говорю я и тут же хватаю его ладонь.

Второй раз — если считать рукопожатие первым и запястье отдельным экспериментом, уже третий. Тишина. Я закрываю глаза. Не специально. Просто так легче заметить отсутствие. В больнице после случайного касания в лифте мне хотелось содрать с себя чужое раздражение. После Оли долго оставался стыд, хотя я не знала, чего она стыдится и к кому относится её память. Роман подарил мне такое облегчение, что я до сих пор не могу думать о нём без канистры. С Глебом ничего не приходит. Но «ничего» оказывается не пустотой. Есть давление его пальцев, сухая кожа, небольшая мозоль у основания большого пальца, тепло. Моё тело остаётся только моим. Я могу стоять и не разбираться, какое чувство сейчас настоящее.

Я держу его дольше, чем нужно. Глеб тихо говорит:

— Ника.

Я не отпускаю. На несколько секунд становится стыдно, но даже стыд здесь мой. Это почти роскошь.

— Ещё чуть-чуть.

Он не спрашивает зачем. Стоит неподвижно, ладонь в моей руке. Сам пальцы не сжимает. Не тянет меня ближе. Просто позволяет. И именно поэтому я перебарщиваю. Когда он делает движение, чтобы забрать руку, я удерживаю сильнее. Совсем немного. Но достаточно. Глеб смотрит на наши пальцы.

— Отпусти.

На «ты» он переходит без предупреждения. Я открываю глаза.

— Сейчас.

— Сейчас.

В его голосе нет злости. От этого хуже. Я отпускаю. Глеб забирает перчатку из моей другой руки, надевает её и отступает. Один шаг. Потом второй. Потом третий. Между нами оказывается столько места, сколько было при первом разговоре.

— Я не хотела... — начинаю я.

— Знаю.

— Ничего вы не знаете.

Он смотрит на меня несколько секунд.

— Возможно.

— Тогда объясните, почему...

Я останавливаюсь. Вопрос «почему я ничего не чувствую, когда касаюсь вас» невозможно задать без всего остального.

— Почему что?

— Ничего.

— Хорошо.

Меня бесит это его «хорошо». Человек принимает закрытую дверь сразу, не пытается сунуть ногу в щель.

— Вы могли бы хотя бы спросить.

- Ты сказала, что не хочешь объяснять.
- Люди обычно всё равно спрашивают.
- Я не буду.

Он достаёт из кармана визитку, хотя такая же уже лежит в папке, и кладёт её на металлический стол рядом со мной. Не передаёт в руку.

- Если по актам будут вопросы — пиши.
- По актам.
- Да.
- А если не по актам?

Глеб задерживает на мне взгляд.

- Лучше по актам.

Вот теперь в его голосе что-то есть, но я не могу получить это самым простым способом. И это почему-то задевает сильнее, чем если бы он солгал. Он разворачивается и уходит через двор. Я не иду следом. Стою у обгоревшего входа, сжимаю визитку и считаю шаги, пока он не скрывается за воротами. Потом возвращаюсь в цех и заставляю себя читать документы с первой страницы. Через час могу пересказать почти всё, что в них есть. Про Глеба — ничего. И это единственное, что мне хочется узнать.

Глеб

Я дохожу до машины и не сразу открываю дверь. На правой ладони всё ещё осталось ощущение её пальцев. Не потому, что она держала сильно. Потому что держала долго. Надо было уйти после папки. Отдать документы, назвать номер, не отвечать на лишнее. Именно так и собирался. Вместо этого стоял у ворот, пока она трижды проверяла что-то на моей руке, и делал вид, что не понимаю, зачем ей это нужно. Я правда не понимаю. Понимаю другое: рядом с ней нельзя оставаться дольше, чем требуется. Она спросила, почему. Я почти ответил. Не про руку. Не про акты. Почти сказал, что знаю о том пожаре больше, чем должен знать человек, который просто принёс копии документов. Что папка неполная не потому, что я плохо искал. Что есть вещи, после которых она перестанет смотреть на меня как на неудобного незнакомца и начнёт смотреть правильно.

Как на человека, которому нельзя доверять. Телефон вибрирует в кармане. Я достаю его, вижу пропущенный звонок брата и убираю обратно. Потом всё-таки сажусь в машину. Если Ника напишет по актам, я отвечу. Если не по актам — тоже. И это первая ошибка, которую я замечаю заранее и всё равно оставляю.

Глава 9

На визитке Глеба адрес напечатан мельче телефона, и первые два дня я очень старательно его не замечаю. Визитка лежит на кухонном столе у Лизы между счётом за её реабилитацию и письмом страховой; я переставляю её, когда вытираю крошки, однажды подкладываю под качающуюся сахарницу, потом зачем-то вынимаю и использую как закладку в акте проверки. К среде она обнаруживается в кармане моих джинсов, хотя я точно не помню, чтобы клала её туда. На этом я решаю, что канцелярия начала вмешиваться в личную жизнь, и еду в «Ярцев и Дё».

Официальная причина у меня приличная. В папке, которую Глеб принёс на пепелище, не хватает приложения к акту обслуживания насосного узла, а страховая прислала новое письмо и выделила этот факт жирным, будто у меня после пожара исчез не вкус, а способность понимать русский язык. Я могла бы написать на почту. Именно это Глеб и предложил, причём таким тоном, каким обычно предлагают пользоваться аварийным выходом: только в случае необходимости и без попыток задержаться. Поэтому, конечно, я еду лично.

Фирма занимает второй этаж бывшей типографии. На первом продают светильники, и над входом висит люстра величиной с мой прежний холодильник для тортов. В десять утра она горит всеми лампами и превращает серый двор в зал дешёвого ресторана, который очень хочет казаться дорогим. Табличка «Ярцев и Дё» куда скромнее: две фамилии, номер офиса, телефон. Никаких обещаний «комплексной безопасности» и красных огнетушителей на логотипе, за что я почти заранее им благодарна.

Перед стеклянной дверью я задерживаюсь, поправляя рукава. После больницы длинная ткань до костяшек стала частью гардероба, как будто я внезапно вступила в секту людей, боящихся собственных ладоней. В метро я держусь за поручень через салфетку, в магазине расплачиваюсь телефоном, Лизу прошу не хватать меня за руку, когда она хочет что-то показать. Пока холодно, это выглядит почти естественно. Что я буду делать летом, предлагаю летней Нике разбираться самой.

Дверь открывается раньше, чем я успеваю нажать кнопку. Мне навстречу выходит высокий мужчина с тёмными волосами, закатанными рукавами рубашки и бейджем, который повернулся обратной стороной. Он смотрит на меня так, будто мы уже знакомы и я просто подвела его памятью.

— Вы к нам? — спрашивает он и придерживает дверь. — Если к пожарным инженерам, то точно по адресу. Если к стоматологу, он этажом выше.

— К Глебу Ярцеву.

— Тогда точно к нам. Костя Дё. — Он протягивает руку, а я смотрю на неё секунду дольше допустимого. Костя успевает заметить паузу, но трактует её как застенчивость и улыбается шире. — Ника Соболева, да? Из «Соли»? Глеб говорил, что вы можете зайти.

— Очень обнадеживающая формулировка. Что именно он говорил?

— Что если придёт Ника Соболева, её надо посадить, дать документы и не раздражать. Последнее, возможно, я придумал, но на него похоже.

Я собираюсь ответить, что рукопожатия сегодня отменяются, но Костя уже делает полшага навстречу. Когда я отступаю, за спиной оказывается стеклянная дверь. Он, видимо, решает, что я просто не люблю официальности, и переходит к куда более опасной форме приветствия — коротко обнимает меня за плечи.

Его предплечье касается кожи у основания шеи там, где ворот толстовки съехал набок. Внутри сразу становится тесно от чужого. Любопытство приходит первым: яркое, голодное, почти весёлое, без злобы, но с такой силой, что мне хочется закрыть лицо руками. За ним вспыхивает короткая картинка — экран ноутбука, таблица с суммами, строка выделена жёл-

тым, мужская ладонь резко опускает крышку, когда в кабинет кто-то входит. Вместе с картинкой остаётся беспокойство о деньгах, неприятное, вязкое, не похожее на обычное «не хватает до зарплаты».

Я отталкиваюсь от Кости раньше, чем успеваю понять, чья рука была у ноутбука и почему ему было страшно. Он выпускает меня сразу и отходит так резко, что едва не цепляет пяткой дверь.

— Чёрт, простите. Я из тех людей, которых надо предупреждать табличкой.

— Уже поняла. Можно крупным шрифтом.

— Всё, руки при себе. Клянусь бухгалтерией. — Он прижимает ладони к груди и отступает ещё на полшага. — У нас сейчас бухгалтерия — самое святое.

Последняя фраза цепляется за вспышку с таблицей, но я не спрашиваю. Тамара повторяла: чувство — не признание, память — не объяснение, а всё остальное дорисовывает тот, кто очень хочет знать. Я и так слишком часто додумываю за людей. Новый дар просто дал этому плохому навыку медицинское осложнение.

— Глеб здесь? — спрашиваю я.

— Был. Уехал на объект минут двадцать назад, вернётся после обеда. Могу позвонить.

Разочарование выскакивает раньше здравого смысла. Я прячу руки в карманы и качаю головой.

— Не надо. У меня вопрос по документам.

— Тогда я, возможно, даже полезнее. Я второй в нашей маленькой пожарной монархии. Тот самый Дё.

Я смотрю на табличку за его спиной. — Это правда фамилия?

— Через ё. Спасибо отцу и французскому прадеду, которого никто никогда не видел. В школе было весело.

— Соболезную.

— Наконец-то правильная реакция. Пойдёмте, покажете, чего не хватает. И я обещаю не трогать вас даже папкой.

В офисе пахнет кофе, бумагой и строительной пылью. Запах кофе заставляет желудок напомнить, что утром я съела половину банана, который по консистенции мог быть и варёной картошкой. У стойки стоит прозрачная банка с печеньем. Пока Костя ищет свободную переговорную, я беру одно, хотя заранее знаю результат: хруст есть, сахарные кристаллы царапают язык, масло оставляет жирную плёнку, вкуса нет. Я давно должна была перестать проверять. Почему-то именно еда заставляет меня снова и снова убеждаться, что отсутствие никуда не делось.

В переговорной Костя садится напротив и забирает папку так осторожно, будто я могу взорваться от случайного движения. Стоит ему увидеть письмо страховой, шутки заканчиваются. Он быстро пролистывает акт, находит нужный пункт, проверяет номер договора и поджимает губы.

— Приложение должно быть, — говорит он. — Если это тот комплект, который я думаю.

— Глеб сказал, часть документов отсутствует.

— В архиве фирмы или у собственника?

— Не уточнил.

— Конечно. — Костя потирает переносицу. — Он умеет сообщить ровно столько, чтобы юридически нельзя было обвинить в молчании.

— Это профессиональное?

— Семейное.

Я поднимаю голову. На секунду он будто жалеет о сказанном, но отыграть обратно уже нельзя.

— Роман Ярцев его родственник?

— Старший брат. Вы не знали?

Я знала фамилию владельца здания. Знала фамилию Глеба. Просто не сложила их рядом, потому что на пепелище думала не о родственных связях, а о собственной руке в его ладони и о невозможной тишине. Теперь две вещи, которые я держала в разных ящиках, сами оказываются на одном столе.

— Роман владеет зданием, — говорю я. — А Глеб обслуживал пожарную систему.

Костя медленно закрывает папку. — Это лучше обсуждать с ним.

— Почему он сам принёс мне акты?

— Тоже с ним.

— У вас удобно. Любой вопрос заканчивается Глебом.

— Поверьте, для меня это тоже часто проблема. — Костя пытается усмехнуться, но взгляд уже серьёзный. — Я не прячусь. Просто есть чужие вещи, в которые партнёр не должен лезть вместо человека.

Я почти спрашиваю про деньги из его памяти. Не спрашиваю. Если начать использовать каждое чужое касание как бесплатный допрос, через неделю от меня останется только набор ответов и ни одного собственного ощущения. Тамара сказала, что дар берёт плату. Пока я не знаю, чем именно, но после её рук мне не хочется проверять слишком часто.

— Хорошо. Тогда приложение.

Костя кивает с явным облегчением и идёт к архивным шкафам. Я остаюсь одна, открываю переписку с Глебом и нахожу там два письма: моё «документы получила, спасибо» и его «если будут вопросы, пишите». Набираю «я у вас в офисе», смотрю на фразу и стираю. Вместо неё пишу: «Страховая требует приложение к акту от 14 февраля. Костя ищет». Ответ приходит через минуту: «Не у Кости. У меня копия. Буду в 13:30».

Без приветствия, без вопроса, почему я не написала заранее. Я смотрю на время — двенадцать сорок — и ловлю себя на совершенно нелепом облегчении. Костя возвращается с пустыми руками, замечает мой телефон и качает головой.

— Великий и молчаливый спас ситуацию?

— Будет через пятьдесят минут.

— Тогда кофе. Это единственное, чем я могу компенсировать его характер.

— Можно.

— Молоко, сахар?

Я пожимаю плечами. — Всё равно.

Он замолкает на полуслове, вспоминая, вероятно, что Глеб рассказал и о моём вкусе. В его лице появляется жалость, и я сразу злюсь, хотя он ничего плохого не сделал.

— Не надо, — говорю я. — Мне действительно всё равно. Сделайте как себе, только не обнимайте по дороге.

— Вот это уже рабочие отношения.

Кофе пахнет хорошо. На вкус, разумеется, никак. Пока Костя отвечает на звонки, я стою у окна, держу кружку за горячий бок и смотрю во двор. Перчатки лежат в кармане. Надо надеть их до возвращения Глеба; я уже получила от этого офиса чужого больше, чем планировала. Но когда в тринадцать тридцать пять открывается дверь и он появляется в коридоре, я оставляю руки на кружке.

Глеб видит меня сразу. На нём тёмная куртка, в руке тонкая папка. Он останавливается, переводит взгляд на Костю, на мои документы и снова на меня. Костя, который обычно заполняет собой всё помещение, внезапно становится очень занятым телефоном.

— Ты пришла, — говорит Глеб.

Не «здравствуй», не «что случилось», не «почему не написала». Просто факт. Но в этом факте почему-то больше личного, чем в моём официальном письме про насосный узел. Я

ставлю кружку на подоконник и достаю из кармана перчатки, слишком поздно, чтобы сделать вид, будто собиралась надеть их с самого начала.

Глава 10

Глеб проходит в переговорную, кладёт на стол тонкую папку и первым делом смотрит не на меня, а на Костю. Тот поднимает обе руки, как человек, которого застали возле открытого сейфа.

— Я ничего не говорил, — сообщает он. — Почти.

— Костя.

— Хорошо, уйду. Ника, если он начнёт отвечать односложно, это не из-за вас. Это заводская настройка.

Дверь закрывается за ним, и в комнате становится заметно тише. Не та тишина, которую я получаю от кожи Глеба, — обычная офисная: гул вентиляции, шаги в коридоре, принтер за стеной. Но тело почему-то всё равно ждёт другого, будто уже запомнило возможность ничего чужого не чувствовать.

— Он сказал, что Роман твой брат, — говорю я.

Глеб снимает куртку и вешает на спинку стула. — Это не секрет.

— Для меня был.

— Ты не спрашивала.

— Отличная стратегия общения.

Он принимает замечание без попытки оправдаться, садится напротив и подвигает мне папку. Внутри то самое приложение, которое требует страховая: схема насосного узла, результаты тестового запуска, подписи. Я пробегаю глазами страницы, но мысли всё время возвращаются к двум одинаковым фамилиям.

— Твоя фирма обслуживала пожарную систему в здании брата, — говорю я. — И после пожара ты сам нашёл меня и принёс документы.

— Да.

— Это тоже просто совпадение?

— Нет.

Он отвечает сразу, и от этого вопрос, который я собиралась задать следующим, теряет красивую форму. Я откладываю листы.

— Тогда зачем?

Глеб проводит пальцем по краю стола, будто проверяет скол. — Потому что тебе понадобятся бумаги для страховой. И потому что часть документов у Романа могла исчезнуть.

— Почему ты решил, что исчезнет?

Пауза короткая, но я её замечаю.

— После пожара документы часто начинают искать все одновременно. Лучше иметь копии.

Это разумно. Слишком разумно, чтобы спорить, и недостаточно, чтобы поверить окончательно. Я смотрю на его руки. Правая лежит рядом с папкой, ладонь вниз. Без перчатки. Одно движение — и я узнаю хотя бы, есть ли там страх, раздражение, вина. Ничего не узнаю. С ним это не работает, и именно поэтому желание спросить кожей становится сильнее.

— Что ещё есть в копиях? — спрашиваю я.

— Акты обслуживания, журналы тестов, переписка с подрядчиками. Но не всё относится к твоему делу.

— Моё здание сгорело. Я пока плохо понимаю, что к нему не относится.

— Здание было не твоё.

— Спасибо, я помню договор аренды.

Глеб чуть сжимает челюсть, но не огрызается. Вместо этого достаёт из папки ещё один лист и разворачивает ко мне. — Страховая будет спорить не о причине пожара. Они будут

спорить о том, исполнила ли ты требования арендатора: сигнализация, доступ к выходам, обучение персонала, хранение материалов. По этим пунктам у тебя нормально. Им нужен повод сократить выплату, и они будут собирать мелочи.

— Поэтому приложение важно.

— Поэтому важно не только приложение. Нужна независимая экспертиза.

Я перечитываю выделенную им строку. Слово «экспертиза» за последние дни встречается так часто, что начинает звучать как название дорогой услуги, которую придумали специально для людей без денег.

— Сколько?

— Зависит от объёма.

— Я ненавижу ответы, которые начинаются так.

— От восьмидесяти.

— Тысяч?

— Да.

Я откидываюсь на спинку стула. На карте «Соли» после выплат сотрудникам осталось меньше. Страховая при этом просит доказать, что должна мне деньги, за деньги, которых у меня уже нет. В этом есть какая-то административная эстетика.

— Прекрасно. Может, у них ещё есть тариф «сгорели, но держитесь»?

Угол рта Глеба дёргается. Это почти улыбка, но он быстро возвращает лицу обычную сдержанность.

— Я могу сделать техническую часть.

— За восемьдесят?

— Нет.

— За сколько?

— Ни за сколько.

Я смотрю на него дольше, чем прилично. — Почему?

— Потому что знаю систему и объект. И потому что моя подпись есть в части документов фирмы.

Последняя фраза должна насторожить, но он произносит её настолько буднично, что я слышу прежде всего предложение помощи. Внутри сразу поднимается привычное сопротивление: я умею платить за работу, брать бесплатно не умею. Даже от Лизы. Особенно от Лизы.

— Нет. Я найду деньги.

— Тогда потратишь их на юриста.

— Я не просила тебя решать, на что мне тратить деньги.

— Не просила.

Он не отступает и не давит. Просто остаётся сидеть. С людьми, которые спорят громче, мне проще; их можно перекричать или закончить разговор. Глеб оставляет паузу, и в ней собственные аргументы начинают звучать хуже.

— У тебя конфликт интересов, — говорю я наконец. — Здание брата, фирма твоя.

— Поэтому заключение подпишет другой специалист. Я соберу материалы, проведу расчёты и отдам ему на проверку. Если захочешь, выберешь эксперта сама.

— А Роман знает?

— Нет.

— И ему понравится?

— Нет.

Второе «нет» звучит проще первого. Я не знаю, почему меня это убеждает сильнее всего остального.

— Хорошо, — говорю я. — Но я оплачу хотя бы работу эксперта.

— Хорошо.

— И копии.

— Копии стоят двести рублей.

— Значит, двести рублей.

— Ника.

— Не начинай.

Он ничего не начинает. Подвигает мне лист с перечнем документов и достаёт ручку. Мы почти час разбираем то, что уже есть, и то, что нужно запросить. Глеб объясняет коротко, без желания продемонстрировать профессию. Когда я задаю глупый вопрос, он не говорит, что он глупый; когда задаю хороший, тоже никак не хвалит. Это неожиданно удобно.

Через сорок минут входит Костя с двумя стаканами кофе и пакетом булочек. Он ставит всё на тумбу и демонстративно отходит на безопасное расстояние.

— Перемирие с углеводами. Я руками не кормлю.

— Спасибо, — говорю я.

— Глеб, тебе чёрный. Нике... я купил несколько, потому что не знал, что имеет смысл.

В пакете круассан, булочка с корицей и сырная слойка. Я смотрю на еду и понимаю, что Костя старался не сказать «раз ты ничего не чувствуешь». Это делает его внезапно менее раздражающим.

— Круассан, — выбираю я. — По крайней мере, у него есть текстура.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.